

# בסמיהם

מנורה



ИВРУСАЛИМ

החשמ"א 22 1980

## ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ МАДАМ ПОТИФАР ЛЮБУЕТСЯ ПРЕКРАСНОЙ ФРАНЦИЕЙ

*Шломо Билга*

В свидетели призываю на вас ныне небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Господа, Бога Твоего, слушая глас Его и прилепляясь к Нему; ибо он жизнь твою и долготу твоих дней, в кои пребывать тебе на земле, которую клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Иакову, дать им.

*Второзаконие 30:19–20.*

### Предисловие, едва не ставшее последним словом обвиняемого

...Я любил и теперь еще люблю математику ради нее самой, как не допускающую *лицемерия и неясности* — двух свойств, которые мне отвратительны до крайности.

*Жизнь Анри Брюллара, 86\*.*

Когда вы находите ответ на волнующий вас вопрос, совсем не обязательно писать об этом. Но если ваши поиски привели к... В общем, возможность объяснить — единственная оставшаяся у меня после всего случившегося литературная привилегия и обязанность.

Я пишу, я складываю, я подклеиваю это... ну что ли *иерусалимское эссе-кораблик*, это аналитически-сочувственно-ироническое признание, — я пишу его для русскоязычного читателя, а если конкретнее — для тех, чья юность прошла, проходит, будет проходить в России, а если еще конкретнее — то для евреев *из и в России*, и, наконец, — куда уж конкретнее — для своих детей. Немногочисленные, но иногда довольно личные автореминисценции демонстрируют серьезность моего отношения к теме, а не к самому себе. Между прочим, я математик, но диплом — это ведь еще не патент на правдивость и ясность мысли.

Но ближе к делу: истина, которую я собирался доказывать, приступая к своим изысканиям, состоит, грубо говоря, в том, что роман Стендаля "Красное и черное" — это испытательный стенд, где литературная марионетка, несчастный Жюльен Сорель, демонстрирует нам во всех деталях — псевдо-религиозных, социальных, национальных, психологических, интимных, — как сложилась бы судьба Иосифа, сына Иакова, если бы он, не приведи Господь, был французом 1800–1810 года рождения.

---

\* Курсив Стендаля. Здесь и далее Стендаль цитируется по изданию 1959 г., Москва.

Несколько дней работы показали, однако, что проблема серьезнее: выяснилось, что история Иосифа — не просто аналогия, это духовный и при этом смертельно-ненавистный автору *архетип* романа, воспроизведенный *наизнанку* с тем большей (почти пугающей) точностью, что искренний Стендаль даже не подозревал о его вдохновляющем — ведь и ненависть вдохновляет — присутствию.

Увы, это печальное открытие не было последним... Живая ткань романа распалась на глазах, я уже догадывался, чей хищный лик восстанет из груды литературолома...

Тогда я совершил преступление. Господа, я не раскаиваюсь в содеянном! Более того — я счастлив и горд, что смог на это решиться.

### Долг платежом красен

Судите же о том, какое впечатление среди такой ужасающей скуки должен был произвести на меня "Дон-Кихот". Находка этой книги явилась, может быть, величайшим событием моей жизни...

*Жизнь Анри Брюллара, 71.*

Все началось очень обыкновенно... Просматривая с воспитательной целью роман "Красное и черное", после того как его прочел мой пятнадцатилетний сын, я с грустью вспомнил свои детские волнения, стесненность дыхания, ошеломляющее сочетание восторженности и тоски — предчувствия страстей и опасностей взрослой жизни — от первого чтения этого романа, от его детского *прочтения* мною, московским школьником пятидесятых годов...

Что поделать, я принадлежу к тому невеселому послевоенному поколению граждан России — сейчас я вспоминаю эту страну без тени ностальгии, но с любовью и состраданием, — которые росли в уже целиком коммунистических семьях: неграмотная бабушка, потерявшая на войне двух сыновей и зятя, моего отца, одна только сохраняла желание и право на аполитичность и освежающую простоту суждений. Страх владел мною, в особенности за стенами дома — слова безграмотных школьных *педагогов* никак не вязались с реальностью ощущений, люди молчали о самом важном, газеты мрачно восхваляли нелепо-отвлеченное, вечно орущее радио с непостижимым для детского сердца ожесточением осыпало бранью и угрозами карикатурно-несуществующее... Говорить было не с кем и не о чем — оставалось читать.

О, эти спасительные островки мировой литературной классики, стойко возвышавшиеся над зловонными потоками советской литмакулатуры!

По молодости лет не умея пользоваться предисловиями — презервативами фабрики резиновых изделий отечественной *кретической мысли* (хотя априори уважая их марксистско-ленинскую мудреность), я то там, то сям подхватывал духовную заразу; болел подолгу, страдал от рецидивов. В конце концов, став взрослым, я попал, как особо заразный, под наблюдение доброго доктора. Но не Айболита (тот, по словам тоже доброго дедушки Корнея, "под Деревом сидит") — а другого, из большой, как в нашем остроумном народе говорили, Полуклиники на площади этого... как его... ну там еще его памятник напротив... всемирно-известный х... да нет, кроме шуток... ну как их называют, ну которые людей ржут под этим...

как его... да нет, причем тут зная, вы эти ваши шуточки бросьте... черт, каждый раз на этом самом месте, как и раньше, в России, память отшибает... Так о чем я... ах, да, так вот, этот мой доктор (между прочим, он-то и был самый добрый, может, даже в мире — он и дедушкиного доктора посадил под это самое, наверное, мичуринское Чудо-Дерево) — так вот, этот мой доктор годами, не щадя себя, — люди-то ведь, сами знаете, самый ценный капитал — днем и ночью прослушивал мое дыхание через мой же телефонный аппарат. (А как это делается, все тот же опасно-информированный дедушка описал: "У меня зазвонил телефон... Кто говорит? Слон. Откуда? От Верблюда..." И так далее...)

Ах вы перламутрово-голубые, как околышки наших докторов, воспоминания моего розового — в отсветах кровавых свершений — детства! Нет с вами сладу...

Между прочим, после первых девятнадцати лет кристально-атеистической жизни меня угораздило напороться на Библию... Последующие девятнадцать лет пондобились на то, чтобы понять, что я хочу либо быть религиозным евреем на земле моих предков, либо не быть вовсе. Чудо состояло в возможности осуществить первую половину этого желания — право на его вторую половину наш остроумный народ давно уже отстоял, а еще больше отсидел.

...Но я забыл о Стендале... Он был одним из самых близких моему сердцу классиков... А все же мое счастье, что не читал я в детстве его мемуаров — этого парадоксального сплава аскетического ужаса детских страданий со светским мраком взрослых увеселений — и со свидетельствами высокого разума блестящего стилиста и джентльмена. (Кстати, граждане, я дико извиняюсь, но на душе как-то беспокойно... я тут случайно двадцатью строчками выше вроде как бы прихвастнул, вроде как бы намекнул на что-то личное... в общем, я человек семейный, к тому же совсем не тщеславный, так вот... *я никогда ничем таким не болел и не пользовался... Фу, опять Стендаль попутал...*) Подростком я учился у его героев честно-му пониманию своего эмоционального мира. *Я воспринял от них идеал личной чести благородного индивидуалиста, со страстной тщательностью избегающего всякой фальши и не страдающего излишней скромностью самооценок. Говорит Стендаль: "У тетки Элизабет была испанская душа. Ее натура была квинтэссенцией чести. Она полностью передала мне эту манеру чувствовать, и отсюда ряд моих нелепых поступков, проистекавших из деликатности и величия души"* (*Жизнь Анри Брюлара*, 96).

Вот еще жемчужина его воспоминаний: "Но я уже давно откладываю один очень важный рассказ, один из двух или трех, быть может, которые заставят меня сжечь эти записки. Моя мать, Генриетта Ганьон, была очаровательная женщина; я был влюблен в свою мать". (Там же, 28.) Далее следует волнующий своей смелой пронизательностью и безыскусной красотой отрывок первоклассной прозы — блестящий побег романтика из психиатрической лечебницы Зигмунда Фрейда, упрятавшего туда с помощью своей двойной эдиповской бухгалтерии весь цивилизованный мир.

"Но сколько нужно предосторожностей, чтоб не солгать!" — вот, что было заботой этого писателя (там же, 11) и, мне кажется, единственным основанием морального кодекса этого человека.

Есть трогательное место в мемуарах Стендаля, которое независимо от моих первоначальных намерений, но к моей радости, наделяет это эссе дополнительным

качеством неоконченного (не моя вина!) письма к другу:

”Неспособный ни на что, даже на то, чтобы писать официальные письма по долгу службы, я велел затопить камин и пишу это, как мне кажется, без всякого притворства, ничего не придумывая, с тем удовольствием, с каким пишут письмо другу. Каковы будут мысли этого друга в 1880 году? Как сильно они будут отличаться от наших?..” (Там же.)

Как видим, в 1980 году они отличаются сильно...

Между прочим, при таком взгляде на мои записки все содержащиеся в них автобиографические экскурсы едва ли способны удовлетворить законное любопытство моего знаменитого собеседника:

”Для меня это нечто новое: обращаться к людям, образа мыслей которых я совершенно не знаю, как и характера их воспитания, их предрассудков, религии! Какое поощрение к тому, чтобы быть *правдивым*, а ведь только простая *правдивость* выдерживает испытание”. (Там же, курсив Стендаля.)

Остается добавить, что в число моих предрассудков не входит морализирование. В особенности, нет ничего более ошибочного, чем *такое* понимание эпиграфа из Второзакония; тем, кого травмирует этот самый категорический из всех императивов — ”Избери же жизнь!” — я могу подбросить такую несложную мысль (я *не верю* в нее): эти слова Моисея обращены только к евреям и только об их земле идет там речь. Однако, рискуя рассердить нееврейского читателя (я боюсь даже думать о чувствах нерелигиозного еврейского читателя!), признаюсь: у меня возникло впечатление, что у героев Стендаля, а пожалуй, и у него самого *не было выбора*, и сознавать это очень грустно... ”В конце концов, сказал я себе, я не так уж плохо провел свою жизнь. Провел! Ах! Это значит, что случай не послал слишком много несчастий, так как, по правде говоря, разве я сколько-нибудь управлял своей жизнью?” (Там же, 6.)

### Искусство чтения по диагонали

Сказал Кузари: Пока мне достаточно сказанного, если же мы продолжим беседу, я попрошу тебя привести более веские доказательства.

Кузари. Глава I.

Один мой российский приятель, который с чисто русской локальной принципиальностью вел один на один войну против всей мировой... нет, энтропии (физик по образованию, он принял слишком близко к сердцу метафизику Гиббса и философию Винера), — так вот, этот мой приятель имел, в частности, милое обыкновение читать — абсолютно все на свете — с обязательным карандашом в руке, — но не для подчеркивания, а для вычеркивания, вымарывания избыточных, по его мнению, слов, предложений, даже страниц — занятное зрелище являла собой его библиотека.

Слегка утрируя его привычку, я получил такой текст:

Юноша из провинции волею судеб расстается с семьей, отцом и братьями, и попадает в дом богатого и знатного человека в качестве слуги достаточно высокого ранга. Он делает успехи на новом поприще. После осложнений, вызванных нерав-